

«Седой профессор говорил о Чехове. . . »

Л. А. Каракуц-Бородина

Башкирский государственный университет

Мне довелось слушать у Ромэна Гафановича Назирова курс истории русской литературы в осенне-зимнем семестре 1993 – 1994 учебного года и, весной того же года, – курс русской литературной эстетики.

Он оказался одним из двух преподавателей, о ком я узнала еще до поступления на филологический факультет Башкирского государственного университета. Вторым был легендарный Бараг, но если Льва Григорьевича бывалые студентки характеризовали как невероятного чудачка, то впереди Назирова бежала его слава женолюба. Старшекурсницы многозначительно закатывали глаза – «Он такой!..»; мне вспоминается даже слышанный в те годы пикантный анекдот с Ромэном Гафановичем в роли искусного любовника – однако никаких свидетельств его похождений – даже из третьих-пятых рук – никто и никогда так и не получал. Придержаться перед студенткой дверь, подать руку на скользкой зимней лестнице – само собой разумелось всегда. Как и многие, я помню его одобрительные замечания о женской красоте в целом (будь то героиня телесериала или студентка младшего курса), о том, что укорочение юбок с приходом весны – это прекрасно. . . Теперешний жизненный опыт говорит мне, что именно так, несколько демонстративно, ведут себя самые верные мужья, и даже если это неправда – я не хочу об этом знать.

. . . Осенью 1992-го со мной случилось головокружительное: на премьеру в Русский драматический театр меня пригласил недавний филфаковский выпускник, который, в силу гигантской по моим ощущениям четырехлетней разницы в возрасте, обаятельной внешности и наличия модных в то время цветных пиджаков, представлялся мне совершенным небожителем. В театре мы оказались еще и в компании известного теле- и радиоведущего, тогда старшекурсника нашего факультета. Ситуация уже позволяла второкурснице ощутить себя на седьмом небе, однако молодые люди старались усугубить впечатление: «Видишь – сам Рахимов! – шептали мне. – Видишь – Миргазямов (в 1992 председатель Совета Министров Башкирской АССР – **Л. К.-Б.**)!» А затем едва ли не с большим восторгом было произнесено: «Назиров! Нужно поздороваться!» Помню, каким серьезным, каким уважительным было рукопожатие, и с какой гордостью принимали его от наставника мои спутники, мгновенно утратившие налет пижонства.

Тогда я впервые вблизи увидела лицо этого человека; потом впечатление закрепилось, когда, что было большой редкостью, Назиров ока-

зался без очков, протирая их. Дело в том, что внешне он был весь — контраст, парадокс. Щуплое невысокое тело венчалось огромной гордо посаженной головой; выдающийся ашкеназский нос вступал в противоречие с азиатскими глазами. И, разумеется, все это, вкуче со звучным глубоким голосом, делало его неотразимо привлекательным; я абсолютно уверена, что апокриф о женолюбии Назирова и родился в коллективном сознании влюблявшихся в него студентов разных поколений.

* * *

Лектор он был совершенно артистический. Насколько я понимаю, это было сочетание природного дара Мельпомены и высоких этических принципов педагога, которые и я теперь по мере сил стараюсь воплощать.

Первым принципом, на мой взгляд, следует назвать развлечение. Да-да лектор в назировском исполнении всегда оставался прежде всего развлекателем. Это потом я узнаю, что развлекать слушателя принципиально важно, ведь он в силу самих своих психофизических возможностей очень недолго способен поддерживать пассивное внимание, так что кто не развлекает — тот и не научит.

Отсюда — изящные назировские подводки к очередному разделу курса, каковые разделы почти всегда совпадали с персоналиями писателей. Именно так я на всю жизнь запомнила, например, что у Тургенева был высокий, почти женский голос и что, попав в кораблекрушение, солидный классик суетливо предлагал за собственное, раньше женщин и детей, спасение — деньги.

Сообщив несколько подобных, не самых значительных, но чрезвычайно ярких подробностей из жизни литератора, имя которого не называлось, Ромэн Гафанович поворачивался спиной к аудитории, уходил в глубь — иначе и не скажешь — сцены, держал паузу, затем разворачивался и эффектно объявлял: «Иван Сергеевич Тургенев!»

В качестве второго принципа Назирова-педагога следует назвать высочайшую плотность содержания занятия. Вдохновенно играя, Назиров всегда сохранял трезвость, всегда оставлял спектакль лишь формой лекции, а не ее целью. Первейшим же свойством его курсов всегда оставалась системность. Кроме Назирова только еще один преподаватель — доцент Писарева — показывала нам место каждого явления в русской литературе как грандиозном процессе, встроенном, в свою очередь, в процесс мировой. Особенно ярко это проявилось в назировском спецкурсе по русской литературной эстетике, в котором, судя по регулярным экскурсам к истокам и к сегодняшнему дню русской литературы, которые он совершал, излагая нам историю ее «золотого века», Ромэн Гафанович, видимо осуществил давно желанное. Он строго по пунктам, максимально четко давал самое главное, он все успевал — и при этом никогда ни на секунду

не задерживал нас после звонка.

Сегодня, когда уродливая болонско-советская вузовская система требует от нас учета студенческого присутствия и «отработок» неприсутствия, это кажется мне особенно ясным: повысить посещаемость можно только одним способом — стать интересным своему ученику. Назиров никогда не отмечал присутствующих, не делал замечаний отвлекающимся — просил только не мешать, и однажды между прочим сообщил, что во французских университетах студенты, совершенно не мешая преподавателю, в процессе лекций перекусывают, а в аудиториях, где имеются балконы, на этих самых балконах даже занимаются любовью. Перекусывать на лекциях мы робели, балконов в аудиториях не было, а вот опоздания в эпоху, когда до университета возили лишь легендарная «двойка» (автобус «студенческого» маршрута «Сипайлово — Телецентр») да троллейбус № 7, — опоздания случались, чего уж там. И однажды, скрипнув дверью, когда лекция уже шла, я услышала в устроенной амфитеатром и оттого так подходившей Назирову с его актерским даром аудитории 02 яростное: «Каракуц, я Вас застрелю!»

. . . Третьим принципом Ромэна Гафановича я бы назвала уважение к студенту, искреннее отношение к нему как к равному.

Мой однокурсник Артем Клименко, ныне известный шоумен, уже тогда много работал и потому на занятиях появлялся редко. Однако, обладая отличными способностями, он очень быстро и эффективно, без дураков, что называется, готовился к сессиям. И было ясно, что он доставил Ромэну Гафановичу искреннее наслаждение, приведя на экзамене мнение — о Чехове, кажется, — Г. А. Бялого, внепрограммную статью которого накануне прочитал — не из подхалимства, скорее случайно. Помню, как Назиров вышел из аудитории, потирая руки от удовольствия: «Этот парень читал Бялого! Конечно, я поставил ему пятерку!»

Он был великодушен, он был щедр, как бывают щедры и великодушны только очень богатые люди.

* * *

С этим моим однокурсником связан еще один маленький эпизод, который и сейчас стоит у меня перед глазами: как-то раз, лишенный перекура некими деканатскими делами, Назиров вошел к нам в аудиторию и попросил минутку подождать, затем, уже с папиросой во рту, легко вскочил на подоконник и рванул фрамугу, а Клименко картинно подыграл ему с театральным жестом: «Ромэн Гафанович, нет! Не надо из окна, мы будем примерными студентами!» Кто-то, занудствуя, сказал в этот момент, что, мол, не надо бы, — вредно. . . Курить, разумеется, ему было совершенно нельзя, но это так шло ему, составляло такую органичную часть всего его облика. Назиров курил перед входом в главный корпус,

курил со студентами на «курительной» лестнице, причем, не в силах дотерпеть несколько шагов до нее, закуривал еще в коридоре.

* * *

Я помню его яркие обороты, независимые суждения. «Плачу рубль денег!» — с такой громогласной фразой он эффектно вошел однажды в деканат в поисках конверта. «История о том, как мальчик сделал девочке ребенка и поэтому она стала директором завода» — вот его синопсис фильма «Москва слезам не верит». Его лекции мы слушали в эпоху бразильских сериалов; очередная серия «Дикой Розы», что ли, выпадала, помню, как раз на время начала лекций второй смены, и Р. Г., вместе со всеми задрал голову, смотрел ее по телевизору в холле первого этажа. И после, войдя в аудиторию, сообщил краткое содержание: «Скончалась молодая женщина!..» И, кажется, именно после этого рассказал о единстве категории «вдруг» в позднегреческом романе и мыльной опере.

* * *

Мы знали, что Назиров — один из крупнейших достоевсковедов, мы понимали, что перед нами — явление, но всегда можно было — и так хотелось! — подойти к нему запросто, поговорить, пожать руку. . . Узнав о защите докторской («Давно было пора!» — говорили на факультете, а у меня на корочке тетради под названием предмета так и значилось: «Проф. Р. Г. Назиров»), я подошла поздравить лично. А он вдруг поморщился с досадой и сказал что-то вроде: «Это такая ерунда. . .»

Помню последнюю встречу — после инсульта, со слегка скошенной шеей, разминая в подрагивавших пальцах неизменную папиросу, Р. Г. небрежно сообщил: «Ложусь на операцию». В глазах его я явственно увидела страх, но ведь не мог мой наставник, такой большой и сильный, — бояться. Наверное, я тогда горячо сказала, что все будет хорошо.

Потом мы узнали, что операция не удалась. И на прощании в холле второго этажа вместе с тем же Артемом Клименко считали, сколько профессор Назиров не дожил до семидесяти. Так сложилось, что наши судьбы круто менялись в том году, и даже тогда виделось, а ретроспективно и подавно становится ясно, что то был конец, как бы банально это ни звучало, прекрасной эпохи.

Р. S. Аспиранткой, переживая и итожа то, что позднее показалось малозначительным, а теперь обрело свой окончательно значительный вид, потому что предмет этих переживаний находится в одном с Назировым мире, — я написала следующее.

Седой профессор говорил о Чехове:
«А любит В, В — С, и все несчастливы»,
И называл случайными огрехами
Счастливые концы, весьма нечастые.

Потом профессор величал Булгакова
Певцом любви, какую нужно выстрадать.
И группа от восторга чуть не плакала,
А кое-кто в углу крестился истово.

И под конец он помянул Набокова,
Изящного и редкостно непошлого,
Как самого, возможно, неглубокого
Из всех певцов любви столетья прошлого.

Слова ложились каменными плитами,
И группа завопила очень искренне,
Что лучше быть беспечною Лолитою,
Чем Гумбергом, страдающим и выпреним.

И разговор о непокорном счастье
Вдруг обернулся фразой неизбежно
О том, что легче стать безумным Мастером,
Чем все постигшей душой Маргаритою.

А кто-то с задней парты бросил реплику:
Мол, холодно ли, страшно или пусто ли —
Но проще всех пришлось, конечно, Треплеву:
Он первым понял, как бороться с чувствами.

(Поясню: здесь все — вымысел, кроме первой строфы, почти дословно передающей назировские объяснения персонажной структуры чеховских пьес; из Набокова же Р. Г. лишь с удовольствием цитировал, что «настоящая большая литература — феномен языка, а не идей», однако, как я поняла, недолюбливал его за не вполне чистый русский язык: приводил какую-то фразу с некорректным деепричастным оборотом).

Все студенческие годы я членствовала в поэтическом обществе «Тропинка»; в духе Фроси Бурлаковой, выступала, и к тому времени стихи иссякали; понимание того, что графа Монте-Кристо от поэзии из меня не вышло, было близко — но все же ужасно хотелось показать стихотворение его герою и адресату (там и посвящение было). Помню вердикт: «Недурственно. Но все еще очень по-школярски».

Назировское резюме помогло мне распрощаться с поэзией. И все же мне очень дорого это стихотворение. Оно, взамен утраченных тетрадей с лекциями, — мое личное напоминание о том, к чему довелось прикоснуться.